Традиционно критические отзывы о произведении пишут в конце книги. Но я решил поместить их в начале. Прочитав мнения близких мне людей, возможно, кто-то из вас передумает читать мою книгу.

ОТЗЫВЫ

Родители: *«Иван, написание книги не освобождает тебя от изучения математики, которую ты запустил и в которой слаб».*

Глеб: *«Мне все понравилось. Я нисколько не сержусь».*

Мирошкин: *«На хрена было писать, что я матерюсь? Мне в военное училище поступать. Теперь кто меня туда возьмет?»*

Савка: *«Все так и будет. Вот увидишь!»*

Наташа: *«Ты все выдумал. На самом деле все было не так».*

Алена: *«Я так и не успела прочитать. Что тогда писать?»*

Карпухин: *«Слабо повторить подвиг Гоголя?»*

Георгий: *«Будешь садиться — руки не поломай, писатель».*

Вера Сергеевна: *«У меня всегда было сопрано. А так книга понравилась».*

Нина Николаевна: *«“И скорее сам я сгину, чем тебя, Иван, покину…” (твой Конек-Горбунок)».*

ЧТО БЫЛО

Что за странная мода — называть мальчиков Георгием. Сколько пафоса! Вырастет этот Георгий и станет сантехником. Картина: Георгий Победоносец разводным ключом разит унитаз. А как дома называть того Георгия? Жорик — пошло. Гога — глупо. Ладно, что-то я разошелся. И как не предаться стебу, когда этот новенький уже достал. В школу ноги не несут. Ненавижу его. Ненавижу сильнее, чем математику, крепче, чем люблю Наташу. Какая же тварь этот Георгий!

— Че, Ванька, в реку хочешь? — спросил он меня на второй день учебы.

«Ну, — думаю, — новенький, неизвестно откуда приехал, ему что море, что река».

— Хочу, — говорю. День и вправду был жаркий.

И молниеносно получил «в реку». В нее самую. И пронеслись пред моим взором и реки, и моря, и степи, и лесотундра. Когда я пришел в себя, Георгия рядом не было. Других ребят тоже. Все были в классе, перемена закончилась. Доковылял до своей парты и я. Сел и вперился в ненавистный затылок.

«Ну, тварь, урою. Умру, но урою», — стучало в висках.

Но моя ярая ненависть к Георгию трансформировалась в брезгливое презрение. Виной тому был вчерашний случай. Между уроками «объект» залез в мой ранец, пока я ходил за булочкой в столовую. Он там порылся, вытащил несколько шпаргалок, носовой платок в соплях и маленького тряпичного дельфинчика Митьку. Не знаю, что было самым стыдным из списка. Перед Верой Сергеевной — так первое. Перед Наташей — второе, перед пацанами — третье. Нисколько не смущаясь от содеянного, он стал деловито рассматривать свои трофеи, комментируя по ходу. Когда я вошел, пацаны вовсю играли в футбол Митькой. На моей парте гордо вздымался от засохших соплей носовой платок. За учительским столом сидела Вера Сергеевна, а перед ней — смятые бумажки, исписанные арабской вязью, плоды моих вечерних бдений. Пока я раздумывал, каким образом буду его убивать, Георгий с нахальной физиономией поддал жару:

— Че у тебя такой бардак в портфеле? Заразу тут разносишь.

Это были его последние слова. Забыв, где я нахожусь, забыв про Веру Сергеевну и про то, что, когда я резко разворачиваюсь, у меня из брюк вылезает рубашка и видны трусы, забыв про булочку в руке, я со всей дури влупил этому гаду так, что тот упал и больше уже не вставал. Помню визг Веры Сергеевны и мое мимолетное удивление по этому поводу: до сего дня она говорила густым контральто, которое очень шло ее вполне заметным усикам (или наоборот?). Мне казалось, что удар был один, и я искренне удивился, что их было несколько. Точный ответ знала лишь булочка, зажатая в моем кулаке. Но она молчала.

Потом был мучительный разбор полетов. Помог Ося. Он сопровождал меня из школы, не оставлял одного, когда я делал вид, что делаю уроки. Он бесшумно присаживался на мою кровать, когда я не мог заснуть, и шептал:

Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры,
И висят городами украденными,
Золотыми обмолвками, ябедами,
Ядовитого холода ягодами
Растяжимых созвездий шатры —
Золотые созвездий жиры… *

Я слушал этот тихий, знакомый до боли голос и засыпал.

Из школы меня не выгнали, хотя и грозились. В тюрьму не посадили, хотя она и плакала по мне. Отношения с одноклассниками не испортились, хотя учителя пророчили, что теперь никто рядом со мной гадить не будет (они говорили «руки не протянет», но это одно и то же). Забыли про сопливый платок, ибо сопли бывают у всех. Не вспоминали про Митьку. Наверное, у каждого есть свой замусоленный Митька в тайнике. Жизнь потекла как прежде, если не считать, что Вера Сергеевна стала обращаться ко мне исключительно по фамилии: «Корпич не привел ни одного примера из класса членистоногих — три», «В тесте Корпич перепутал жужелицу с крыжовником — позор!», «Может, Корпич поведает классу о ресничных червях?».

Голос ее встал на место, и мы привычно слушали о том, как прекрасен мир кишечнополостных. Ее завораживающее контральто обволакивало и уводило в таинственный мир медуз, из которого не хотелось возвращаться в мир людей.

На мое взросление и становление как личности эта история никак не повлияла. Я не раскаялся, но и не вырос в собственных глазах. Все во мне осталось по-прежнему,

---

* *Мандельштам О. Стихи о неизвестном солдате (1937).*

как будто никогда не было ни гнусной рожи, нависшей над моим раскрытым ранцем, ни затоптанного Митьки, ни нас с булочкой, несущих возмездие.

Наташа открыто проявляла интерес к Глебу. Я тоже был не одинок. Со мной были Ося, Анна Андреевна, Марина, Леха Крученых, песни Ильи Лагутенко и Митька.

ТАК, ПРОСТО

Современники отмечают, что у Оси был беспричинный детский смех. По его собственному объяснению, он смеялся от «иррационального комизма, переполняющего мир». Это как у Чехова в «Мальчиках», когда маленькая Маша, увидев Чечевицына, друга своего брата, говорит в раздумье: «А у нас чечевицу вчера готовили». Или вот из жизни. Ходили с отцом в театр оперы и балета, слушали концерт Гайдна. Сидя высоко на балконе, я слушал музыку и рассматривал музыкантов. Внимание привлек полный мужчина. Он почему-то ни на чем не играл. «Кто он?» — мучился я. Толкнул в бок отца и спросил его. Тот в ответ: «Композитор, наверное». В то, что это восставший из гроба Гайдн, я не поверил. Но вот, когда зазвучал стремительный финал, музыкант вскочил с каким-то металлическим треугольником в руке, сделал едва заметное движение и снова сел на место. Больше он уже не вставал. Я сотрясался в конвульсиях от смеха. Во-первых, из-за Гайдна, с которым его спутал отец, во-вторых, от его скромного участия в концерте.

КЛАДБИЩЕНСКИЙ ВЕНОК

— Откройте дневники и запишите… — Голос Веры Сергеевны был ниже, чем обычно. Все насторожились. — Завтра всем принести по сто рублей. Алена, — обратилась она к старосте, — напишешь список и пометишь, кто сдал.

— А на что деньги? — вяло выкрикнул кто-то.

Лицо Веры Сергеевны на секунду болезненно исказилось, и она негромко сказала:

— На похороны девочки Насти. Точнее, на венок.

— Это из 11 «В»? — спросил вездесущий Глеб.

— Да, — нехотя ответила Вера Сергеевна, и ее усики скорбно поползли вниз.

— А что случилось? Что с ней? — со страхом пронеслось по классу.

— Деталей я не знаю, — глядя в пространство, напряженно сказала Вера Сергеевна, и все до единого поняли: знает! — Но, когда будет ближайший классный час, я бы хотела с вами очень серьезно поговорить.

Голос Веры Сергеевны стал снова сочным и уверенным, взгляд ясным. Видно, она приняла для себя решение и осталась им довольна.

Кто такая эта Настя, я не знал. Одиннадцатиклассницы — это не по моей части. Одно то, что я такой особе не достаю своей макушкой до груди, сводит наше общение на нет. Я даже не пытался вспомнить лица этой девочки. Но что-то неприятно мерзкое стало расползаться по моему телу, мозгам, душе. «Это несправедливо», — пульсировало что-то внутри меня. «Так не должно быть», — рвалось изнутри. Но тут кто-то резко перекричал мой внутренний голос:

— Она выкинулась из окна! Мне бабушка говорила. С новостройки выкинулась.

Мне были до боли знакомы и эта запальчивость, и эти радостные интонации. И снова отвращение и злоба, как две цепные собаки, стали рваться наружу.

— Корпич, ты меня слышишь? — Низкий голос Веры Сергеевны всегда действовал на меня отрезвляюще. — Завтра после уроков поможешь Алене купить венок от нашего класса.

— А где? — спросил я.
— Ты, как всегда, меня не слушал. В «Тихой обители» на Героев Хасана.
— А какую надпись на ленте заказать? — деловито спросила Алена.
— «Спи спокойно»!
— «Пусть земля будет пухом»!
— «Все там будем»!
— «За расставаньем будет встреча…»

Обычно пассивные, одноклассники подозрительно оживились и стали проявлять творческую активность. Но из всего многоголосья я отчетливо услышал каркающий выкрик, звучащий рефреном:

— «Мягкой посадки, мягкой посадки…»

Что-то щелкнуло в моей голове, и веки стали тяжелыми, как у Вия. Но не успел я вонзиться в свою мишень взглядом, как Вера Сергеевна очень низко и внятно сказала:

— На ленте пусть напишут: «От учеников 6 «В» класса». Остальное излишне.
— А куда нам венок нести? В школу? — спросила Алена.
— Нет... — замялась Вера Сергеевна. — Пусть постоит у кого-нибудь из вас дома. А утром принесете в школу.
— Я к себе не понесу, — капризно сказала Алена. — Пусть Корпич несет к себе.

Я промолчал, хотя нести домой кладбищенский венок мне не хотелось. Не по себе как-то. Но демонстрировать свою мнительность, если не сказать трусость, я не хотел.

Домой я шел один. Оставив все тревоги дня за школьным порогом, я шел по знакомой дороге, и тени моих невидимых друзей проступали сквозь приморский осенний воздух. Ося, худой, с высоко поднятым подбородком, впалыми щеками, в расстегнутой дохе, шел справа от меня. Несмотря на сильный ветер, я слышал, как он бормочет:

Лишив меня морей, разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета:
*Губ шевелящихся отнять вы не могли.**

— Не могли, — тихо согласился я. — Вот и у меня губ шевелящихся отнять никто не сможет.

Ося улыбнулся. Я отчетливо увидел детскую улыбку на его полупрозрачном лице. Потом он понемногу стал отставать. Когда я подошел к подъезду, Оси рядом со мной уже не было.

После пятого урока Алена подошла ко мне первой и напомнила про венок. Из школы мы вышли вместе. Всю дорогу мне было не по себе. Одно дело в школе: можно и поговорить, и по урокам спросить, и новостями обменяться. Но как только мы переступаем порог школы, то вдруг резко начинаем понимать, что мы мужчины и женщины. Так произошло и на этот раз. Неловкость началась с первой же минуты. Говорить было не о чем. Идти — неудобно. Я хожу быстрыми, широкими шагами. Алена — медленно, разбрасывая ноги от колена, как будто пританцовывая чарльстон. К тому же она явно стеснялась того, что люди видят ее в моей компании. Каждый раз при приближении очередного прохожего она приостанавливалась и заглядывала в свой телефон.

В автобусе сели на одно сидение, но ехали молча, каждый сам по себе. Алена уткнулась в свой телефон. Я хотел было пообщаться с кем-нибудь из «своих», но передумал. Стал думать о себе, об Алене. Внешне она мне нравилась. Вот только если б убрать из ее облика весь этот отвратительный розовый цвет. И я

---

* *Мандельштам О. «Лишив меня морей, разбега и разлета...» (1935).*

мысленно переодел ее в синее платье с белым воротником, выбросив в мусорку джинсы, делающие из нее «жидконогую козявочку-букашечку». Избавился от мерзкой розовой кофты, при взгляде на которую у меня начинал ныть зуб. Затем стал выколупывать из ее волос все эти нелепые розовые заколочки. Наконец, я представил ее хорошо расчесанной, в колготках телесного цвета и в синих лодочках на ногах. Такая Алена мне определенно нравилась. «А теперь я тебя поцелую», — подумал я и мысленно потянулся к ее губам. Но в эту секунду в голове зазвучало низкое контральто Веры Сергеевны: «Яйца глистов хорошо передаются через слюну человека».

Я вздрогнул и отключился от своих фантазий. Видно, от досады я резко дернулся, отчего Алена оторвалась от телефона и вопросительно посмотрела на меня.

— А ты боишься глистов? — спросил я.

Она ничего не ответила, возможно, не расслышала.

— А как ты думаешь, кого любил князь Мышкин: Аглаю или Настасью? — Я все еще надеялся на общение.

— Я не читала про таких, — равнодушно сказала она.

— А стихи ты любишь?

Алена поморщилась:

— Это ты после Наташки? Да брось ты. Кто их читает?

Я почувствовал, как невидимая армия ушедших поэтов начинает обретать очертания. Стремительный Пушкин, толстый Крылов, язвительный Ходасевич и другие поэты стали постепенно заполнять салон автобуса. «Еще мгновение, и пассажиры увидят их», — подумал я. И чтобы предотвратить катастрофу, стал довольно громко декламировать первое, что пришло на ум:

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
*И сказал мне: «Не стой на ветру».**

— Корпич, ты больной? Зачем ты читаешь стихи от имени женщины? — Алена вскинула белесые брови.

— Знаешь, если говорить о поэзии, то не может быть поэтов-мужчин и поэтов-женщин, — начал было я, но она перебила:

— Только не надо про уроки, — и добавила: — Вставай, выходим.

Я достал деньги, чтобы расплатиться за двоих. Алена не возражала. Еще хотел подать ей руку при выходе, но рука неожиданно вросла в карман, и я не подал.

В «Тихой обители» нас приняли доброжелательно. Женщина средних лет была участлива, и это располагало к общению. Пока я объяснял цель нашего визита, Алена ходила по залу, рассматривая образцы гробов, венков, лент, красно-черных подушечек и прочих похоронных атрибутов.

— Какая прелесть! Вань, смотри! — восторженно защебетала она.

Я подошел и увидел бело-розовый, зефирного вида венок, сплошь состоящий из розочек пастельных тонов.

— Ну Вань, ну давай этот! — взмолилась она, как будто просила для себя. — Смотри, какая прелесть. Такой милый!

Я не стал спорить.

Когда речь зашла о ленте, женщина-приемщица заговорщицки посмотрела на нас и сказала:

---

* *Ахматова А. «Сжала руки под темной вуалью...» (1911).*

— Я знаю, для кого это. По телевизору показывали. Хорошая девочка, из благополучной семьи. Такая трагедия! Ей бы жить да жить. Каково сейчас родителям? А вы знаете, почему она это сделала? Все-таки из одной школы.

— Нет, — сказала Алена.

— Может, помог ей кто? Может, шантажировали или вынудили? — допытывалась приемщица.

Но нам было нечего ответить, так как подробностей мы не знали.

— Нам бы ленту сразу, — попросил я.

— Сделаем. Что написать?

— «От учеников 6 «В» класса», — сказала Алена.

— Знаете, я вам так скажу: надо написать что-то более душевное, чтобы от сердца шло. За количество слов не волнуйтесь. Если денег не хватит, мастер сделает вам так, за счет нашей фирмы. Директор у нас хороший мужик, не станет возражать.

— Хорошо, — сказала Алена. — А что в таких случаях пишут?

— Да разное. Вот, например, вчера очень хорошую надпись заказали: «Жизнь, как танец, как полет в вихре света и движенья, верю: смерть — лишь переход, знаю: будет продолженье». Семь метров атласной ленты пошло, еле задекорировали.

Я удивился, что существует отдельное направление в поэзии — похоронное. Но вслух сказал:

— Семь метров — это слишком много.

— Тогда выберите что-нибудь из каталога, — сказала женщина и протянула массивный альбом.

Алена не стала участвовать в выборе надписи, положившись на мой вкус.

— Ты у нас поэт, ты и выбирай, — сказала она и пошла разглядывать все эти цветочки, веночки и ленточки.

Минут пять я читал самые необычные прощальные надписи, пока не остановился на одной. Она приковала мое внимание, и после нее другие меня уже не привлекали.

Ты ушла — и сразу снег пошел.
Пусть тебе там будет хорошо.
Пусть укроет мягкий белый плед
Землю, где тебя отныне нет…

— Хороший выбор, — сказала приемщица. — За количество слов не беспокойся, все сделаем.

И они сделали.

Обратная дорога была не такой тягостной для меня. Наверное, поход в похоронную контору сблизил нас, а проезд в туго набитом автобусе морально закалил. Пассажиры реагировали на венок по-разному. Кто-то смотрел на нас сочувственно, типа «бедные сиротки». Кто-то вполголоса бубнил: «С ритуальными принадлежностями нельзя ездить в общественном транспорте». Мы ничего не отвечали, стояли близко напротив друг друга, поставив между собой венок. Выйдя из автобуса, Алена, кивнув на него, сказала:

— Заберешь?

— Да, — коротко ответил я, взял венок и пошел домой.

— Слушай, Ваня, — Алена догнала меня, — я все-таки скажу тебе. — Она секунду помялась, затем продолжила: — Наташа никогда тебя не любила. Она давно встречается с Глебом. — Вздохнула: — У него отец депутат, в Думе сидит. Ты знал?

— Так и я не одинок, — спокойно сказал я.

— А кто она? — оживилась Алена.

— Марина. У нее отец — директор, в Музее изящных искусств.

— Это который на Корабельной набережной? — наморщила лобик Алена.
— Почти.
Я не солгал. В моей жизни всегда была Марина. И будь она сейчас жива, как знать, кому бы она посвятила эти строки:

Я тебя отвоюю у всех времен, у всех ночей,
У всех золотых знамен, у всех мечей,
Я ключи закину и псов прогоню с крыльца —
*Оттого что в земной ночи я вернее пса.**

Когда я зашел в квартиру, там никого не было. Я занес венок и поставил его возле дивана в своей комнате. Делать ничего не хотелось. Я включил светильник «Звездное небо», поставил диск с песнями Ильи Лагутенко, лег на диван и стал наслаждаться медленным движением звезд по стенам и потолку, пока не уснул. Таким меня и увидели родители, когда пришли домой: неподвижным, с раскрытым ртом, под «Звездным небом» и со стоящим рядом кладбищенским венком.

СДЕЛКА

К оценке по поведению у меня отношение двойственное. Лично мне по барабану, что в четверти выходит «удовлетворительно». Но у родителей другое мнение. Расстраивать их не хотелось, поэтому я пошел на сделку с совестью. Когда Вера Сергеевна предложила мне принять участие в танцевальной композиции, посвященной Новому году, посулив «хорошее» поведение, я согласился. Года два назад я бы долго копался в себе после такого предложения, выискивал бы истинные мотивы, уличал бы всех в издевательствах и унижении, потому что танцую я, как летающий табурет. Сейчас, когда я стал взрослым, стал относиться к подобному проще. Короче, я согласился.

Сразу же после заключения сделки Вера Сергеевна повела меня в актовый зал. Там гремела музыка, под которую несколько девочек лет тринадцати исполняли что-то отдаленно похожее на танец. Набор движений был отвратителен. Но самым гадким было, когда они поочередно соединяли локоть с противоположным коленом, кривобоко наклоняя корпус. Мне было стыдно на них смотреть, и я отвел взгляд. Когда я снова посмотрел на сцену, они делали движения а-ля Буратино, оттопырив все те же колени и локти. Очевидно, для постановщика эти части тела были приоритетными в танце. Когда же они стали бить себя сомкнутыми в замок руками сначала по одному плечу, затем по другому и в той же последовательности по коленям, я не выдержал и посмотрел на Веру Сергеевну. Мне показалось, что на ее лице запечатлелось страдание. Может, ей тоже было неловко за танцующих? «Сто лет назад люди делали акробатические пирамиды. Это же гимн красоте человеческого тела! А Айседора с ее греческими танцами? Разве можно сравнить с этим убожеством?» — думал я, в то время как одно нелепое движение сменялось другим. Меня охватило нехорошее предчувствие. «Не это ли и меня ждет?» — подумал я и вопросительно посмотрел на Веру Сергеевну. Та, словно прочитав мои мысли, тихо сказала:
— Нет, ты будешь танцевать другое. С мальчиками.
Я в последний раз посмотрел на сцену. Раскрасневшиеся от усердия девочки в апогее делали подскоки с высоким подыманием бедра, при этом их короткие болотного цвета капроновые пачки резко содрогались. Содрогнулся и я. Вера Сергеевна взяла меня за руку и тихо сказала:

** Цветаева М. «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес...» (1916).*

— Попробуй. Я тебе в любом случае поставлю четверку по поведению, Ваня.

Я подумал, что ослышался. Во-первых, она впервые назвала меня по имени с момента пресловутой драки. Во-вторых, Вера Сергеевна — это не тот человек, который легко идет на уступки. Я хотел сказать что-нибудь хорошее в ответ, но не смог подобрать слова, а только с благодарностью посмотрел на нее.

— Мне уйти? — спросила Вера Сергеевна.

Я оценил ее благородный порыв. Она не хотела меня смущать. И вполне искренне ответил:

— Нет. Если можно, останьтесь.

Нас было восемь мальчиков. У всех были насупленные и злые лица, из чего я заключил, что тройка по поведению выходила не у одного меня. К нам подошла старенькая женщина, раньше я уже видел ее в нашей школе. Мне она сразу понравилась. Понравилось, что она старенькая, что у нее лукавый и ироничный взгляд, что она умеет формулировать задачи.

— Ну что, бойцы, — сказала она. — Волноваться не надо. Все у вас получится. Танец короткий и простой, но исполнить его вы должны с огоньком. Чтобы публика завелась и со сцены вы ушли под бурные аплодисменты, а не под стук собственных каблуков.

Мне понравилось сравнение. Я заглянул в ее немолодые глаза, и мы улыбнулись друг другу.

— А теперь разбирайте коней и прошу на сцену.

«Конями» оказались полутораметровые коричневые палки, которые должны были изображать этих животных. Моей задачей было оседлать палку, держа ее правой рукой, ритмично подпрыгивать и при этом размахивать левой. Это незатейливое движение многократно повторялось со сменой рук и позиций. То есть мы подскакивали то лицом к зрителям, то правым боком, то левым.

— Это конница с Дедом Морозом спешит к ребятам из леса, — пояснила наша руководительница.

Вторым и последним движением было воткнуть палку перед собой и обежать по кругу. Ничего сложного. Возможно, не доведись мне увидеть предшествующий номер девочек, я бы постеснялся скакать на палочке верхом, посчитав это унизительным для себя. Но все познается в сравнении. По сравнению с коленно-локтевой композицией наших предшественниц этот танец был вполне сносным, и я скакал на палке, потом обегал ее, потом снова скакал и снова обегал. Из зала на меня смотрели улыбающиеся глаза Веры Сергеевны, что придавало мне силы. Когда прозвучали заключительные аккорды, в наш адрес раздались дружные аплодисменты всех, кто присутствовал на репетиции. Одним словом, со сцены мы уходили не под стук собственных каблуков.

— Молодцы, — сказала нам наша наставница, — всем спасибо. Следующая репетиция по расписанию.

Потом я увидел, как к ней подошла Вера Сергеевна и они начали о чем-то оживленно разговаривать. До меня донесся ироничный диалог:

— Я этот танец уже более шестидесяти лет ставлю. Первоначально он у меня назывался «Тачанка». Мальчишки танцевали его в папахах, как у Чапаева. Потом «Военный галоп». «Кукурузный краковяк» в шестидесятых. Только на палки надевали муляжи кукурузных початков. В лихие девяностые я его приспособила под аэробику для мужчин. Такие личности приходили, вы не представляете. Пиджак малиновый в раздевалке снимет и ну вокруг палки крутиться!

— Вот и я так же, — вторила ей Вера Сергеевна. — Раньше просто рассказывала, что цапля кушает лягушку. Потом, что цапля кушает лягушку и это называется пищевой цепью. Теперь про тех же цаплю и лягушку, но уже про экосистему.

— У каждого свой «Кукурузный краковяк»…

Я немного постоял и пошел к выходу. В коридоре меня догнала незнакомая девочка в юбочке болотного цвета. На мгновение вспомнив ее конвульсивные движения на сцене, я подумал, что ей, как и мне, танцы лучше смотреть по телевизору, чем исполнять.

— Ты Корпич Ваня? — запыхавшись, спросила она. — Я читала твои стихи в школьной газете. Отличные стихи!

— Нет, я Семенов Денис, — сам не знаю почему ответил я и пошел домой.

САВКА

Прошлой весной, в конце мая, мы высаживали Дерево Дружбы напротив школы. Это была хилая корейская сосна. Бедное дерево хирело все лето, а к зиме окончательно погибло. Я против таких символичных акций: теперь не знаешь, чего ожидать от дипломатических отношений с этой страной. Но не о том речь.

— Копать ямку будут самые развитые мальчики, — сказала Вера Сергеевна, — Ваня и Савва.

Если толстые значит развитые, то мы с Савкой в классе самые развитые.

Копали и разговаривали. Потом пошли ко мне. Я наделал бутербродов с молочной колбасой и майонезом. Савка был ошеломлен: в их семье не ели ни то, ни другое, считая эту еду вредной пищей для бедных. Пока Савка делал неограниченное количество подходов к запретной в их доме еде, мы легко и много говорили. Доверительность родилась мгновенно, что между людьми бывает нечасто. Каждый говорил о важном, наболевшем. Савка — про материальное, насущное, что надо «отбить» в этом мире кусок пространства с деньгами, независимостью, едой, благами. Я — про свое: что стихи живут в космосе и есть среди людей те, кто может услышать их среди пения звезд и перешептывания планет и записать. Таких людей у нас называют поэтами. Потом я рассказал ему про миссию Солженицына, и мы решили найти большой камень и притащить его в район Автовокзала, где раньше находился пересыльный лагерь для политзаключенных.

— Напишем красной краской: «Читайте «Архипелаг ГУЛАГ», там все», — предложил Савка.

— Может, лучше так: «Путник, остановись и помяни Александра Исаевича Солженицына, который радел за тебя», — сказал я.

— И черной краской, — передумал Савка. — Черная будет вернее.

Парадоксально, что, такие разные, мы с Савкой слышали и понимали друг друга. Ведь и я ничего не имел против денег, независимости и еды. И он не возражал против поэзии. Меня несло и несло. Я сказал, что Толстому не надо было обижать Софью Андреевну. И Савка согласился. Потом я долго и пространно пересказывал жизнь Николая Алексеевича Некрасова со своими обличениями и комментариями. И Савка был на моей стороне. Когда из меня полились стихи любимых поэтов, глаза Савки увлажнились, он перестал есть и сказал:

— Когда я стану богатым и влиятельным, я буду помогать тебе. Будешь писать свои стихи, найдем останки Оси. Будем собираться и есть бутерброды с колбасой и майонезом.

После этих слов у меня засвербило в носу и перехватило дыхание.

Когда мы обсудили все самое важное, я напоследок спросил:

— Слышь, а как тебе новенький?

— Жорка? Да никак. Пацан как пацан. А что?

Я не стал портить такой день и промолчал.

А ЛЯ ГЕР КОМ А ЛЯ ГЕР

В Венеции вода. Все в восторге. Туда тянется поток художников и прочих творцов, чтобы испить в этих водах вдохновения. У нас во Владивостоке тоже вода. Когда приходит тайфун. И несмотря на то что тайфунам дают красивые имена типа «Робин», «Джуди» и даже «Лайонрок», их никто не любит. Кроме плохих слов, они не вызывают ничего хорошего ни у художников, ни у простых граждан. Потоки воды при шквальном ветре несутся по улицам. «…мать!» — слышится из дорогих крузаков. «…мать! …мать!» — вторят им промокшие до нитки пешеходы. Такое у нас бывает каждый год, где-то в конце августа. И каждый раз люди искренне удивляются стихии, как будто это не обычный для нашего региона тайфун, а Всемирный потоп. Можно подумать, в прошлом году не смывало огороды и поваленные деревья не мяли автомобили, как консервные банки.

Вот и Вера Сергеевна тоже. Каждый раз разыгрывает искреннее удивление, когда слышит от нас то, что для ее ушей не предназначено.

— Ребята, — трагически говорит она на самых басах. — Я вынуждена констатировать вопиющий факт!

Все заинтригованы. Кто ж не хочет послушать про такое. Вера Сергеевна делает страшные глаза и изрекает:

— Сегодня в коридоре я слышала, как Мирошкин сквернословил.

Зная Мирошкина с первого класса, я уверен, что тот не сквернословил, а попросту матерился. Поэтому я, как всегда, не могу удержаться от смеха. Это как у Оси, тот тоже всегда смеялся от иррационального. Особенно меня заводит неуместный пафос. Как-то наша библиотекарь Нина Николаевна договорилась, чтобы я сходил на занятие литературного кружка «Юный филолог». Там работает женщина, профессиональный лингвист, которая согласилась посмотреть мои записи. Язык не поворачивается назвать их произведениями. С час я томился, слушая, как ребята обсуждали дуб, под которым лежал Андрей Болконский. Оживился лишь когда руководительница кружка Ревмира Васильевна высказала смелое предположение, что дуб у Толстого — это такой же самостоятельный персонаж, как и князь Андрей. После такого поворота я более напряженно следил за ходом занятия. Но дальше не было ничего интересного. Ребятам было предложено подбирать рифмы к разным словам.

— Груб! — бросала в аудиторию Ревмира.

— Суп! Щупл! Туп! Скуп! — летело с разных сторон.

— Луп! — донесся до меня хрипловатый голос. Это рыжий пацан, весь в веснушках, проявил рвение. Моментально Ревмира осадила нахала взглядом. Тот осекся и сник.

— А теперь слово «соль»! — метнула она в толпу.

И опять понеслось:

— Моль! Роль! Король!

— Огурец! — не сдавалась затейница.

— Жеребец!

— Молодец!

— Холодец!

— Песец, — прохрипел знакомый тенорок, но, кроме меня, его никто не услышал.

Вторая часть была посвящена произведениям начинающих авторов. Почему-то она называлась «Суд чести». Ребята поочередно выходили на импровизированную сцену и становились лицом к аудитории. Сначала они принимали странные «поэтические» позы, потом зачитывали свои произведения. В основном это были

стихи. Затем следовало обсуждение. Надо сказать, юные Белинские не щадили друг друга, их оценки были весьма беспощадными. Последнее слово было за Ревмирой Васильевной. Ее вердикт сводился к одному: пока юный поэт не созрел, ему следует много работать, припадать к истокам в лице Пушкина и Лермонтова, питать душу произведениями Тютчева и Фета. Я, грешным делом, подумал, что если буквально следовать ее совету, потом и не поймешь, кто написал «Лес, точно терем расписной», — ты или Бунин.

С моей непрофессиональной точки зрения все предложенные в тот день на «Суд чести» стихи были хорошими. Главное, они были самобытными. Как ни напитывались юные литераторы классиками, лица они не потеряли. Особенно понравилась девочка лет двенадцати. Она была худа и полупрозрачна. Во время чтения своего стихотворения ее глаза были полуприкрыты, и я быстро попал под гипнотическое влияние ее поэтических чар. Стихотворение называлось «Пора плодов». В отличие от внешней бесплотности поэтессы, в ее стихах ощущалась сочная плоть. Подобно художнику Альбини Леблану, она описывала красоты осени широкими поэтическими мазками, используя яркие образы и неизбитые сравнения. Когда она произнесла:

...а грудастая дева Осень гонит тучи с круч, —

Ревмира Васильевна вздрогнула и несколько раз хлопнула в ладоши, тем самым прося поэтессу остановиться.

— Нет, Катя, нет! Это никуда не годится. Мне кажется, ты сама не понимаешь, что говоришь.

— Ревмира Васильевна, я сравнила Осень с грудастой девой, имея в виду ее плодородие, — пыталась защитить стихи Катя.

— Нет, нет и нет. Это не годится.

И Ревмира Васильевна завела длинный монолог о том, как писать нельзя. Ее словоблудию не было конца. «Веревку проглотила», как выразился бы мой отец.

Катя несколько раз резко набирала ртом воздух, чтобы возразить, но, несмотря на то что это был «Суд чести», в последнем слове ей было отказано. Пристыженная, она села на место. Я попытался было вступиться за девочку и ее стихи, но Ревмира Васильевна резко оборвала меня:

— Иван, ты не член нашего кружка, а только гость, поэтому твое мнение мы заслушивать не будем. Вот станешь членом, тогда и сможешь выражать свою позицию.

Последним выступал конопатый. Я еще раньше почувствовал к нему симпатию, как только вошел в аудиторию. Мне импонировало в нем все: веснушки, рыжие волосы, глумливый голос с хрипотцой. Стихи его были весьма провокационные, тем больше они мне нравились. Провокационные — в смысле каждый додумывал рифму в меру своей испорченности. Слушая их, Ревмира Васильевна чувствовала себя как уж на сковороде, но замечаний делать не посмела. Да и как ей было делать замечания? Это все равно, что принародно признать меру своей испорченности. Чтобы не попасть в глупое положение, она оставила стихи Степана — так звали рыжего — без комментариев. Я во второй раз рискнул взять слово, чтобы похвалить смелый язык юного поэта, его образность, юмор, но Ревмира Васильевна вторично указала мне на место, напомнив, что я не член ее кружка. Так я и просидел молча до конца. Но вот занятие закончилось, ребята вышли из комнаты, и мы остались одни. Пожилая женщина оценивающе посмотрела на меня и со значением сказала:

— Ну, показывай.

Я опешил. Затем сообразил и стал выкладывать из черного пакета картонные папки, на которых сам же маркером написал: «Ося», «Марина», «Личное», «Роман о чжурчжэнях», «Пьеса «Интим не предлагать», «Стихи». Ревмира Васильевна окинула папки беспокойным взглядом и резюмировала:

— Это и это, — она многозначительно ткнула в папки «Личное» и «Интим…», — я читать не буду.

При этом она выразительно посмотрела на меня. Я кивнул и про себя подумал, что напрасно, ибо в «Личном» покоились мои личные мысли о писателях, их произведениях, героях. Пьеса же была посвящена Лиле Брик, ее последним годам жизни в Переделкино. Я против скабрезности, особенно в литературе, если что. Но вслух я ничего не сказал.

Ревмира взяла в руки папку «Ося», и мое сердце подступило к самому горлу.

— Тебя интересует тайный мир насекомых? Ты поклонник творчества Виталия Бианки? — неожиданно с умилением спросила она.

Сначала я опешил и ничего не сказал. Потом меня осенило — она прочла: «Осы»! Я хотел было объяснить, но литераторша уже раскрыла папку и погрузилась в чтение. Я наблюдал, как разнообразные эмоции сменяли друг друга, отражаясь на ее немолодом лице: от притворного интереса до брезгливого отвращения. Наконец она воровато оглянулась и стала быстро засовывать исписанные листы обратно в папку.

— Этточчерттеччо! — по-попугаячьи прочирикала она и действительно в этот момент стала похожа на огромного старого попугая с массивным клювом и вздыбившимся на темени хохолком. — Иду навстречу по первому зову, трачу свое свободное время, отдаю всю себя!

Я вздрогнул. К таким жертвам я не был готов.

— Вам что, не понравилось? — поинтересовался я.

— Не понравилось?! — От негодования у моей собеседницы затанцевал кадык. — Это вопиющее безобразие! Это возмутительно! Это стыдно!

Пожилая женщина плевалась желчью. Странно, но вот такой, без напускной вежливости и без скорбной поэтической мины она мне нравилась больше.

— Совсем не понравилось? — все же уточнил я.

— Ты нездоров. И твои записи тоже нездоровы. Такое нельзя читать. Но, главное, такое нельзя писать!

— А что не так? — спросил я Ревмиру, заранее понимая, что не так — всё.

— Как ты посмел? Ведь это безумие!

— Безумие — в чем? — не сдавался я.

— Как ты посмел писать о своих встречах с Мандельштамом?! Что за панибратские беседы? Что за бред? Ты — никто, запомни это, никто! А Мандельштам — это гений! Ты не имеешь никакого права рассуждать о нем, давать свои глупые оценки или записывать свои бредовые фантазии. Для чего это тебе, зачем? Зачем тебе это нужно? Эпатировать людей?

Я не знал, что значит «эпатировать». Я знал созвучное ему слово «этапировать». Я знал, что Осю этапировали во Владивосток, где он и умер.

— …не-при-лич-но! Ты не понимаешь, что это неприлично! — не унималась филолог. — Как вражеский лазутчик, ты стремишься проникнуть в наши литературные ряды, чтобы посеять в них скверну. Кто дал тебе право подвизаться на литературном поприще?

На последнем слове филолог сбрызнула меня своей ядовитой слюной. Я утерся.

О правовой стороне дела я никогда не задумывался. Интуитивно мне казалось, что каждый человек имеет право любить или не любить своих литературных кумиров, делать их близкими, общаться с ними. Короче, я за то, чтобы «прикасаться

к идолам». Желание продолжать беседу у меня пропало. Я стал собирать со стола свои папки. Но Ревмира накрыла «Осю» тяжелой пятнистой ладонью и угрожающе зашипела:

— А если я отнесу это в прокуратуру? Тебя привлекут за клевету! Нет, за осквернение могил!

Наверное, она оговорилась и хотела сказать «святынь», но я поймал ее на слове:

— У Мандельштама нет могилы. И это не клевета. Это мои мысли, предположения. Это то, что я вижу, представляю.

— У тебя видения? Слуховые и зрительные галлюцинации? Ты болен! Тебя надо ставить на учет, лечить у психиатра и изолировать от общества. Помяни мое слово: все так и будет.

— «Жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе», — процитировал я Некрасова, направляясь к двери.

Последовал очередной всплеск негодования, который я попытался разрядить удачно подобранной рифмой:

— Есть еще такой вариант: груб — труп, огурец — мертвец.

ПАПЬЕ-МАШЕ

— Ты требуешь от людей невозможного! — Нина Николаевна была непреклонна. За время нашей дружбы я редко видел ее такой категоричной. — Так нельзя относиться к людям. Ваша историк не так уж неправа.

— Нет, ну вы представьте, вот так в лоб сказать: «Я вас любить не обязана, мне есть кого любить». Разве учитель не обязан любить своих учеников?

— Любовь — очень сильное, особенное чувство. Его нельзя тиражировать. Учитель — живой человек. Нельзя от человека требовать невозможного. Нельзя! — шепотом прикрикнула Нина Николаевна.

— Но вы же любите нас всех?! — парировал я.

Уверен, она любила.

Наша дружба с Ниной Николаевной началась в первом классе, когда я впервые пришел в школьную библиотеку. Она мне сразу понравилась. Несмотря на наши частые споры и разные взгляды на некоторые вещи, мы друзья. Я люблю приходить к ней с гостинцами: яблоком, конфетой, булочкой или батончиком. Она всегда радуется как ребенок, начинает что-то быстро говорить и суетиться. Ставит чайник, достает свои запасы, и мы начинаем общаться. Почему она так радуется? Может, о ней никто не заботится? Я мало знаю про ее личную жизнь. Сама она практически ничего не рассказывает, а расспрашивать неловко. Сказала только, что родилась двадцать второго июня 1941 года. «Дата моего рождения наложила отпечаток на всю мою жизнь», — говорила она. После окончания войны ее, шестилетнюю, мать привезла во Владивосток. Я долго не знал, что случилось с ее отцом: умер? бросил? Намного позже она, отведя меня за крайний стеллаж, шепотом сказала, что он сгинул в сталинских лагерях. Говорила, что это — самая большая тайна в ее жизни. И это несмотря на то, что она регулярно выдавала своим читателям «Архипелаг…» Солженицына, который входит в школьную программу. Несмотря на справку о реабилитации. Несмотря на памятник жертвам политических репрессий В. Овчинникова.

Я люблю Нину Николаевну, люблю разговаривать с ней, спорить. Мне нравится слушать про те странные времена, когда все мерилось колбасой — почему именно ею? Меня вводят в ступор ее рассказы о том, как в не столь отдаленные времена лучший друг мчался в милицию, чтобы «сдать» тебя со всеми потрохами

и отправить в солнечный Магадан для твоего же блага, чтобы ты исправился, перековался и воспитался, а коли выжил, так еще и отблагодарил благодетеля. Я люблю смущать Нину Николаевну неожиданными и провокационными вопросами, на которые у нее всегда находится умный и резонный ответ. Она мне напоминает Конька-Горбунка в лучшем смысле этого слова.

— Это — службишка, не служба; служба все, брат, впереди, — обычно отвечает она, вызволив меня из очередной передряги.

Вместе с Ниной Николаевной в мою жизнь вошла, нет, скорее, хлынула настоящая литература. Она никогда не наставляла, не поучала, ничему специально не учила. Я мог взять любую книгу с полки, открыть на любой странице, прочитать отрывок и поставить на место. Никто не уличал меня, что я не прочел от корки до корки. Наоборот, Нина Николаевна часто просит:

— Прочитай-ка нам что-нибудь на злобу дня.

Я беру с полки томик Блока и с пафосом декламирую:

Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет…

Нина Николаевна напевает в ответ из старинного романса:

Не лукавьте, не лукавьте!
Ваша песня не нова.
Ах, оставьте, ах, оставьте…

И добавляет речитативом:

— Не мог Блок говорить словами Пушкина.

Мы умираем со смеху, хотя кому-то это показалось бы несмешным.

Когда Нина Николаевна занята с читателями, я люблю оставаться в подсобном помещении, где хранятся книги, и наблюдать за огромным чайным грибом в трехлитровой банке. Он вызывает у меня почтение и пиетет. Нина Николаевна убеждена, что это живое разумное существо. Она не разрешает кричать в банку, стучать по ней.

— Ему это не нравится, — говорит она. — Он может обидеться и умереть. Протри банку, Ваня, а то гриб расстроится и заболеет. Кому приятно сидеть в банке и смотреть на мир сквозь пыль.

«Никому», — думаю я и протираю банку.

От Нины Николаевны я несколько раз слышал таинственное слово «папье-маше».

— Что это?

— Это волшебная вещь! — с восторженным придыханием говорит Нина Николаевна. — Из папье-маше можно сделать что угодно. В детстве мы делали из него игрушки, шкатулки, сувениры, маски.

— Маски? — переспросил я. — Мне как раз нужна маска на Хэллоуин.

— Честно говоря, мне не нравится этот праздник, но я могу помочь. Сделаем такую маску, что закачаешься!

— Что мне для этого принести?

Нина Николаевна немного подумала и сказала:

— Да, в общем-то, ничего. Клейстер я дома сварю, а старых газет и тут хватает. Работа в технике папье-маше — дело трудоемкое и требует времени. Так что решай, когда приступаем?

— В понедельник, — ответил я. — Хэллоуин будет в пятницу тринадцатого, так что мы успеем.

На эту вечеринку я возлагал большие надежды. Я решил сделать «ход конем», он же «финт ушами». Идея родилась у меня мгновенно, как обычно рождается все плохое. Короче, на этот Хэллоуин я решил сделать себе костюм покойника. Но не покойника как собирательный образ, а конкретного покойника — Писюгина Глеба. В своем воображении я нарисовал маску с его характерными бровями «домиком», с хорошо развитой нижней челюстью, с железными брекетами, выпирающими из разверзнутого рта. Лицо решил усеять выразительными прыщами, которых в жизни он сильно стеснялся. «Приукрашу трупными пятнами и нарисую кровавую пену возле рта. Все увидят сходство, и тогда…». Я точно не мог сформулировать, что будет «тогда». Глеб устыдится своего безобразия и сгинет из нашего класса? Наташа поймет, насколько я красив на его фоне? Сомнительно. Но все же я ждал эффекта от запланированного. Мне было невмоготу оттого, что я ежеминутно был свидетелем их нарождающегося чувства.

К Нине Николаевне я пришел не с пустыми руками — в школьной столовой купил четыре булочки с сахаром. Она, как всегда, зарделась, вытащила начатую коробку конфет и поставила чай. После трапезы поставила на стол большую банку с клейстером, тут же лежала кипа газет. Мы дружно взялись за дело. Основу для маски Нина Николаевна принесла из кабинета математики. Это была гипсовая голова Пифагора в натуральную величину. Если ему усилить нижнюю челюсть, увеличить нос и нарисовать характерные брови, то сомнений ни у кого не возникнет. Работа спорилась. Три дня мы встречались в библиотеке, размачивали газеты, обклеивали Пифагорову голову слой за слоем, сушили и снова обклеивали. Иногда я ловил на себе пристальный взгляд Нины Николаевны, как будто она ждала от меня объяснений, но сказать всю правду у меня язык не поворачивался.

Когда основная часть работы была сделана, я отнес маску домой. Там я довел ее до совершенства. Долго бился над брекетами. Пожертвовал банку сайры, из которой ножницами по металлу вырезал устрашающую железную конструкцию, вмонтировав ее в зияющий рот маски. Сантехническим герметиком извергнул на лицо россыпь гнойных прыщей, которые так гармонировали с трупными пятнами усопшего. Образ я дополнил фиолетовым саваном, в цвет любимой рубашки «оригинала».

И вот мой звездный час пробил. Сложив наряд в пакет, я переступил порог своего дома. Но, как говорится, факир был пьян и фокус не удался. Как только я вошел в класс, первым, кто бросился ко мне, был Глеб:

— Слышь, Ванька, выручай. Мы с Куницей подготовили номер «Распиливание человека», знаешь, это когда…

— Знаю, — перебил я, — в цирке видел.

— Распиливать должны Мирошкина, но он не пришел. Будь другом, помоги. Я тебе все объясню. Там просто ноги поджать как следует нужно. Во втором ящике уже сидит Карпухин. Он будет твоими ногами.

Слова «будь другом» всегда действовали на меня магически. Так случилось и на этот раз. Лежа в коробе из гофрированного картона, я старательно поджимал затекшие ноги и театрально улыбался одноклассникам в момент «распиливания». Поскольку я был в разы крупнее субтильного Мирошкина, мне это далось нелегко.

Маску я выбросил в мусоропровод на своем этаже тем же вечером. Туда же отправились: моя любовь к Наташе, ревность и месть Глебу.

— Как праздник? Доволен? — со значением спросила на следующий день Нина Николаевна.

— Вполне, — ответил я.

ЧЕМ СЕРДЦЕ УСПОКОИТСЯ

География была шестым уроком. Я томился и изнывал. Надежда Григорьевна рассказывала про муссонный климат. Она муссировала слово «муссонный», она смаковала его так вкусно, что тело запросило есть. Мне грезился мусс, и я его вожделел. Чтобы отвлечься, стал думать о Гумилеве. Странно, некоторые его современники пишут о нем как о высоком, красивом денди. Другие отмечают его устрашающую, отталкивающую внешность. Кому верить? Сейчас я перемещусь на берег Невы и пойду за ним туда, где по пятницам собираются члены литературного кружка «Звучащая раковина». Но планам не суждено было сбыться, так как прозвенел звонок и все шустро заспешили из класса. В коридоре меня нагнала девочка, та, которой я назвался Семеновым Денисом.

— Привет, завтра репетиция, знаешь?

— Знаю. Передавали.

— А вы кого танцуете?

— Мы кони. А вы? Снежинки?

— Нет, снежинки белые, а мы — рыженькие. Мы белочки, которые приветствуют Деда Мороза.

«Рыженькие? Мне отчетливо запомнился болотный цвет. Это, наверное, белочки обкакались от радости, что встретили Дедушку», — подумал я, но вслух ничего не сказал.

— Ты как попал на выступление?

— Пришлось. У меня выходила тройка по поведению.

— А я, наоборот, каждый раз рвусь поучаствовать, хоть в подтанцовке, но никогда не берут.

Я постеснялся выразить нарочитое удивление. Почему не берут, было очевидным.

— А Белоусова ногу подвернула, и взяли меня, больше никто не захотел.

Мы помолчали.

— Мне так нравится! А тебе? — допытывалась она.

— Ничего. Я думал, будет хуже. Вроде бы пританцевался.

— А можно, я перепишу твое стихотворение «Танец», а ты подпишешь мне: «Лене Нечитайло от автора»? А можно еще что-нибудь, типа: «Мы в вихре танца подружились»?

Я представил наши упитанные тела в вихре танца и не смог сдержать улыбки. Лена расценила это по-своему:

— Так я принесу завтра на репетицию?

— Неси, — ответил я.

На репетиции было шумно. Ребята подходили и уходили, здесь же переодевались, что-то обсуждали, руководители хлопали в ладоши и подавали мимикой немыслимые знаки выступающим в духе суфлеров тридцатых годов. Одна группа сменяла другую. В какой-то момент в зал потянулись девчонки в знакомых болотных капроновых пачках. На этот раз голову каждой из них украшал обруч с приделанными беличьими ушками. Сомневаюсь, что это спасало ситуацию.

— Ваня! — от группы белочек отделилась самая крупная.

«Жир к зиме нагуляла», — глумливо подумал я.

— Я принесла.

— Давай подпишу.

Я взял в руки плотный альбомный лист, на котором были написаны мои стихи:

Танец

Свело дыханье,
и пот соленый
бежит с волос.
Латинский танец
страны далекой
меня понес.
Неразделимы,
мы превратились
в одну струну.
Сожми мне руку,
скажи глазами,
я все пойму.
Под ритмы танца,
под шелест платья,
под сердца стук
скажу шагами,
изгибом тела,
движеньем рук.
Бедра касанье,
огней мерцанье
и тел полет.
Латинский танец,
волшебный танец
меня зовет.

Мое давнишнее стихотворение было переписано изумительным почерком. Поля были увиты диковинными традесканциями и розами, среди которых хорошо узнавались стилизованные сердечки.

«Да ну! — начал прозревать я. — Быть не может!» А рука уже писала: «Лене от автора. Пусть этот танец никогда не кончается».

— Ленка, скорее на сцену! — послышался чей-то громкий нетерпеливый голос.

— Посторожишь? — Лена всунула мне листок со стихами и помчалась на сцену.

Я видел, как вздрагивала ее болотная капроновая пачка над полными семенящими ножками, когда она поднималась на сцену. Но вот чудо! — никакого раздражения на этот раз нелепый наряд не вызывал.

Это была не только самая упитанная, но и самая счастливая белочка в стае. Она немного повозилась на месте, приняла нужную позу и с первыми звуками танца задергала своими толстенькими лапками. Я смотрел на нее и улыбался. Мне казались такими милыми эти беличьи движения, что улыбка не покидала меня до самого конца. Когда белочки поклонились, я изо всех сил захлопал, но, оказавшись в меньшинстве, тут же стих.

— Класс! — похвалил я, когда запыхавшаяся Лена подбежала ко мне.

— Правда? Я старалась, — задыхаясь, прохрипела она.

Выяснять, ради кого она старалась, я посчитал излишним.

Принято считать, что вторая четверть — самая короткая, а потому самая легкая. Я бы поспорил.